

# К 81-й годовщине со дня рождения А. М. Горького

М. ГОРЬКИЙ

## Кирилка

...Когда возок выкатился из леса на опушку, Исай привстал на козлах, выгнувшись, посмотрел вдаль и сказал:

— Ах ты, чорт... кажишь, тронулся!  
— Ну?  
— А право... как будто шлет...  
— Гои скорее!  
— Э-эх ты, мар-маладина!

Коротенькое и толстое животное, с ослепшими ушами и шерстью пуделя, от удара кнутовищем по его крупу отскочило в сторону с дороги, остановилось и, перебирая на месте ногами, обижено закачало головой.

— И-но, я тебе покочетичаю! — крикнул Исай, дергая вожжам.

Псаломщик Исай Микинников — урожденный человек, сорока лет от роду. На левой щеке и под челюстью у него росла рыжая борода, а на правой вздулась огромная шишка — она, закрыв ему глаз, опускалась морщиной на плечо. Отчаянный пьяница, недурной философ и насмешник, он вел себя к своему родному брату и моему товарищу, сельскому учителю, умирившему от чихотки. За пять часов времени мы не проехали и двадцати верст, потому что дорога была скверная, а то фантастическое животное, которое вело нас, имело дурной характер. Исай называл его шишкой, жерновом, ступой и другими страшными именами, причем каждое из них одинаково плохо к этому колю, метко подчеркивая ту или иную из особенностей его внешности и характера. И среди людей часто встречались такие же сложные существа, которых как ни назови — все будет вранье, лишь имя человека к ним нейдет.

Над нами нависло серое небо, сплошь покрытое тучами, вокруг распростерлись дуги в темных пятнах проталин. Впереди, верстах в трех, возвышались синеватые холмы горного берега Волги, тяжелое небо опираясь на них. Река была невелика за косматой гривой прибрежных кустов. С юга дует ветер, вода в лужах морщилась и гримасничала, в воздухе металась скучный сырой звук — хлопала грязь под ногами лошадей.

— Задержит нас река, — говорил Исай, подпрыгивая на козлах. — А Иков не дождется и померет... тогда из всего нашего странствия выйдет одно бесполое утробление плоти... Но, ежели мы и застанем его в живых — какая польза? Одна помеха и больше ничего... в час смертный не следует торчать перед глазами отходящего, нужно оставить человека одного, дабы не отводил его взгляда во внутрь себя на предмет посторонний... В час смертный человек должен смотреть в глубины своего сердца, а не на пустяки, ибо живой для умирающего есть пустяк и лишний предмет... Полагам, что так уж полагается законом жизни, чтобы у ора предстали близкие покидающего юдою сию... но ежели рассуждать с употреблением разума, а не мозгом пятки наших, то опять-таки окажется, что в этом обычае нет пользы ни живым, ни мертвым, а одно излещество в терзаниях сердца. Живой не должен и вспоминать о том, что есть смерть и ждет его она... Живому это вредно, потому что отнимает радости... Ты, чортос пест! Играй ногами веселей!.. И-но!..

Исай говорил одностонно, густым, сплывшим голосом, и его нелепая, длинная фигура, закутанная в широкий, дырявый рыжий армяк, неуклюже болталась на козлах, подпрыгивая, перегибалась с боку на бок, кланяясь и откидываясь назад. Широкополая черная шляпа, подарок батюшки, была привязана тесемками под бородой, и ветер бросал в лицо Исай концы тесемок. Псаломщик тряс острой головой, шляпа ссезкала ему на глаза, полы армяка раздувались от ветра. Исай вертелся, ежился, ругался, а я, глядя на него, думал о том, как много человек трагит энергию на борьбу с мелочами. Если бы нас не одолевали гнусные черны мелких будничных зол, — мы легко раздвинули бы страшных змей наших несчастий.

— Идет! — уныло воскликнул Исай.  
— Видишь?  
— Вижу в кустах лошадей, и люди около них... Значит — нет езды!  
— Может быть, как-нибудь переправимся.

— Толкуй! Известно, переправимся... когда лед пройдет. А до той поры что будем делать? То-то... И потом — есть я хочу! Так я хочу есть, что даже сказать этого невозможно простым языком. Говорил я тебе — давай закусим... Нет, вези... На, привези!..  
— Есть и мне хочется... Ты ничего не взял с собой?

— Ежели я позабыл! — сердито ответил Исай.

Выглядывая из-за его спины, я видел козла, запряженного тройкой лошадей, и плетный шарабан парой. Лошади смотрели навстречу нам, а около них стояли какие-то фигуры: одна высокая, с рыжими усами, в фуражке с красным околышем, другая — в черном длинном пальто — сидела на меху.

— Земский начальник Сущов, а это мельник Мамаев, — пробормотал Исай, оборота ко мне и почтительным тоном приказав своему коню:

— Тпру, рыватель!.. Опоздали мы, стало быть? — сдвинув с головы шляпу, обратился он к толстому кучеру, стоявшему у тройки.

Кучер хмуро взглянул на его голый, айеобразный череп и молча отвернулся в сторону.

— Не потрафил, — улыбаясь, ответил купец Мамаев, низенький и полный человек с красным лицом и мохнатенькими глазами.

Земский начальник, облокотясь на крыло коляски, курил и крутил ус, исполняя поглядывая на нас. Тут было еще двое людей: кучер Мамаева, рослый малый с кудрявыми волосами и с огромным ртом, и мужичонка на кривых ногах, в рваном полушубке, туго подпоясанный, перекушавший вперед в как бы застывший в покое нам. Маленькое, сморщенное лицо его поросло редкой серой бородкой, глаза спрятаны в мешках морщин, толстые губы сложенные в улыбку, и в ней одновременно соединились почитательность с насмешкой и глупость с плутовством. Он сидел на короточках, был похож на обезьяну и, медленно поворачивая голову то туда, то сюда, следил за всеми, не показывая никому своих глаз. Из бесчисленных дыр его полушубка высовывались клочки грязной овчины, и вся фигура мужчины производила странное впечатление: он казался изжеванным, как будто только сейчас вырвался из какой-то огромной пасти, пытаясь сожрать его... Высокий бугор пещу, за которым мы стояли, скрывал нас от ветра и реку от нас.

— Пойти, взглянуть, как там делается? — сказал Исай и полез на бугор.

За ним угрюмо двинулся земский начальник, потом я и купец. Мужичонка встал на четвереньки и тоже стал карабкался на бугор. Когда мы взлезли на его вершину, то все село там, мрачные, как вороны. Пред нами аршинах в четырех расстоянии и сажени на три ниже нас — широкой снежнато-серой полосой лежала река, вся в морщинах, в язвах, в кочках мелко истертого льда. Лед покрывал ее, как болезненной коростой, и двигался медленно, по — несокрушимая сила была в его движении. Скрипящий шорох стоял в воздухе, холодно и сыро.

— Кирилка! — позвал земский начальник.

Мужичонка вскочил на ноги и, ставши с головы шапку, согнулся перед земским так, точно подставлял ему свою голову на отсечение.

— Что же — скоро?  
— Не задержит, ваше благородие, сейчас встанет... Извольте видеть, как прет. В этом густом ходу не может он не встать... Там, на версту выше — коса. Как на нее навалит — так и готово дело. Вся штука в большой чье... ежели чья увязнет в воротах около косы — тут ему и препона! Тиснет ее в узины — она весь ход и задержит...  
— Ну, даю...  
Мужик шлепнул губами и умолял.

— Нет, это чорт знает что! — возмущенно заговорил земский. — Я же ведь говорил тебе, идитю, переправь две лошади на эту сторону, а? Говоришь?

— Говоришь, это верно! — выповато ответил мужик.

— И-ну, а ты?

— Не успел, — потому — тронулась она сразу...  
— Болван! Нет, — обратился земский к Мамаеву, — эти ослы совершенно не могут понимать человеческого языка!

— Сказано — муж-жик-и, — любезно улыбаясь, промолвил Мамаев, — раса дикая... племя тупое. Но вот теперь будем ожидать от усердия земства и распрощания им школ — просвещения и образованности...  
— Школы... да! Читальня, фонари — прекрасно! Я понимаю это... но, однако, хотя я и не противник просвещения, как вы знаете, а все-таки ха-аро-ошая порка воспринимает быстрее и стоит дешевле... да-а! За розгу мужик не платит, а на просвещение с него шкуру дерут хуже, чем розгой драли. Пока просвещение только разорает его, вот что... Я, однако, не говорю — не просвещайте, я говорю — пожалейте, подождите...

— Совершенно так! — с удовольствием воскликнул купец. — Очень бы следовало подождать, потому что тяжело мужику по нынешним дням... недороды, болезни, слабость к вину... всё это, так сказать, под корень его сечет, а тут школы, читальня... что с него взять при таком порядке? Совсем нечего с него взять, — уж поверьте мне!

— Вам это известно, Никита Павлыч, — убежденно, но вежливо сказал Исай и благочестиво вздохнул.

— Еще бы! Семнадцать лет хожу вокруг него. Я насчет учения так полагаю: ежели во благовремении, то оно может принести пользу всякому человеку... Но ежели у меня в брюхе, извините, пусто — никому я учиться не пожелаю, кроме как воровству...

— Зачем вам учиться! — почтительно и ласково воскликнул Исай.

Мамаев взглянул на него и искривил губы.

— Вот мужик... Кирилка! — позвал земский. — Вот мужик, — обратился он к нам с некоторой торжественностью на лице и в тоне, — это, рекомендую, неуживчивый мужик, бестия, каких мало! Когда горел «Григорий», он, оборванец этот... собственноручно спас шестерых пассажиров, поздней осенью, часа четыре криду, рискуя жизнью, купался в воде, в бурю, ночью... Спас людей и скрылся... его ищут, хотят благодарить, хлопотать о медали... а он в это время ворует казенный лес и схвачен на месте преступления! Хороший хозяин, скуп, сноху вогаил в гроб, жена, старуха, бьет его поленом. Он пьяница и очень богомолен, поет на калросе... Имеет хороший челядник и при всем этом — вор! Паузилась тут баржа, он понапал в краже трех мест вьюму, — извольте видеть, какая фигура?

Все мы внимательно посмотрели на талантливый мужика. Он стоял перед нами, спрятав глаза, и шмыгал носом. Около его губ играли две морщинки, но губы были плотно сжаты и лицо решительно ничего не выражало.

— И вот мы спросим его — Кирилка! Скажи, — какая польза в грамоте, в школе?

Кирилка вздохнул, потмокал губами и не сказал ничего.

— Ну, вот ты грамотный, — строго заговорил земский, — ты должен знать — лучше тебе жить оттого, что ты грамотный?

— Всяко бывает, — сказал Кирилка, наклоня голову еще ниже.

— Да нет все-таки — ты читаешь, ну, что же, какая польза от этого для тебя?

— Пользы, оно, конечно, нет, чтобы, значит, прямо взять ее... но ежели рассудить, то... учат, стало быть, в пользу это им...  
— Кому — им?

— Учителям, стало быть... земству, значит, и вообще... начальству!..

— Дурак же ты! Тебе-то, тебе — есть польза?

— Это — как угодно, ваше благородие...

— Кому угодно?..

— Вам... значит, как вы начальники...

— Пошел прочь!

У земского концы усов вздрагивали и лицо покраснело.

— Вот видите, он ничего не сказал, но его ответ ясен. Нет, господа, прежде, чем учить мужика азбуке, нужно — дисциплинировать его!.. Он — испорченный ребенок, да! но он и — почва! Вы понимаете?.. Основание пирамиды государственного строя... и вдруг — колеблется! Вы понимаете серьезность такого... а... а... беспорядка?

— Дело ясное, — сказал Мамаев. — И, действительно, следует укрепить...  
Так как и я интересуюсь судьбой мужика, а тоже вступил в разговор, и скоро мы в четыре голоса горячо и озабоченно решали судьбу его. Истинное призвание каждого из нас — устанавливать правила поведения для наших ближних, и несправедливости те проповедники, которые упреляют нас в эгоизме, ибо в бескорыстном стремлении видеть людей лучшими мы всегда забываем о себе.

Мы спорили, а река, как огромная змея, ползла перед нами и терлась о берег своей холодной, серой чешуей.

И наш разговор звивался змеей, раздраженной змеей, которая бросается из стороны в сторону в своем стремлении схватить то, что ей необходимо и что ускользает от нее. От нас ускользала предмет разговора — мужик. Кто он? Он сидел на пеще недалеко от нас; он молчал, и лицо его было бесстрастно.

Мамаев говорил: — Не-ет-е, он не глуп! Он даже о-очень не дурак... его довольно трудно обхвать на кривой!..

Земский начальник раздражался: — Я не говорю — глуп! я говорю — распушен! Поймите! Живет бедный человек, опек на нем, как несомненно-белый — вот в чем корень неурядиц его жизни...  
— А я, с позволения сказать, полагаю так, что оп — ничего! Божья тварь, как и все... Но — извините! Обидел он... от неустойчивости бытия своего динился наезд...  
— Это говорил Исай, говорил голосом елевым и почтительным, сладко улыбаясь и изыкая, его глаза робко шурились и не хотели смотреть прямо, а кланялись, точно в ней было много смеха, он желал вырваться на воздух и не смея. Я же утверждал, что мужик — просто голоден, и что если дать ему вволю хорошей пищи, то он, наверное, исправится...

— Вы говорите — голоден? — раздраженно воскликнул земский. — Но, чорт возьми, почему? Мужик поел, поче-му он голоден? Почему, скажите ради бога, сорок, пятьдесят лет тому назад он не знал, что такое голод? Я говорю... я... я вот сам голоден! Да, чорт, в данную минуту я сам, по его милости, голоден! А? Как это вам нравится? Я приказывал — переправить сюда ложи и ждать меня... Приезжаю... Сидит Кирилка. Ты! Нет, это, я вам скажу, просто идитю...  
— Действительно, — очень бы приятно покушать! — меланхолически сказал Мамаев.

— И-да, — вздохнул Исай...

И все мы, раздраженные спором, уже не раз сердито фыркали друг на друга, замолчали, объединенные желанием есть, и посмотрели на Кирилку, который под нашими взглядами передернул плечом и стал медленно стаскивать шапку с своей головы...

— Как же это ты, брат, насчет лодки-то?.. — укоризненно сказал Исай.

— Да ведь что же лодка?.. хоща бы она и была — ее не с'ешь... — выповато ответил Кирилка.

Мы все четверо отвернулись от него...

— Шесть часов сижу здесь, — объявил Мамаев, взглянув на золотые часы, вынутые им из кармана — из своего кармана, должен и прибавить.

— Вот извольте видеть! — раздраженно воскликнул земский и повел усами. — А эта бестия... говорит — скоро образуется затор... Ты! скоро, что ли?

Очевидно, земский полагал, что Кирилка имеет некую власть над рекой и движением льда по ней, и было ясно, что Кирилка, действительно, виновен в этом, потому что вопрос земского привел в движение все члены мужичонки. Кирилка двинулся на самый край бугра, прикрыв глаза ладонью и стал, наклонив лоб, смотреть вальз, зачем-то дрыгая левой ногой и шевеля губами, как будто он шептал заклинания реке.

Лед шел сплошной массой, синеватые льдины с глухим шорохом лезли одна на другую, ломались, трескались, рассыпались на мелкие куски; порою между ними появлялась мутная вода и исчезала, затираемая льдом. Казалось, огромное тело, пораженное нахожной болезнью, всё в струпьях и ранах, лежит перед нами, а чья-то могучая, невидимая рука очищает его от грязной чешуи, и казалось — пройдет еще несколько минут — река освободится от тяжелых оков и явится перед нами широкая, могучая, прекрасная... свернувшись из-под снега и льда ее волны, и солнце, прорвав тучи, радостно и ярко взглянет на нее.

— Теперь уж — сейчас, вахбродне! — оживленно воскликнул Кирилка. — Редет... эна там! вона у косы!

Он простирал руку с шапкой вдаль, где я ничего не видел, кроме льда...

— До Ольховой далеко?

— Ежели прямо итти, верст пять, вахбродне...

— Ч-чорт... гм! Может быть, у тебя есть что-нибудь? Картофель, хлеб?

— Хлеб?... Это точно, хлеб есть... А картофеля нету... не родилось его ныне, картофеля-то...

— С тобой хлеб?

— Хлеб-то? за паузкой, вот он...

— На кой чорт ты носишь его за паузкой?

— Да его немного, вахбродне, фунта с два... и опять же — теплее он от этого...

— Э, дурак... Надо было давеча еще чучера послать в Ольховую! Молока бы, что ли, выпить... но этот всё твердит — чичас! чичас!.. Злаякая мерзость!

Земский начал зло дергать усы, а Мамаев ласково усталился на паузу мужика, который стоял, понурив голову, и медленно поднимал к ней руку с шапкой. Исай делал Кирилке какие-то знаки пальцами; мужик взглянул на него и стал бесшумно подвигаться в его сторону, обернув лицо к спине земского начальника.

Лед редел, между льдинами являлись тропинки, точно морщины на скучном, бескровном лице. Прай на нем, она придавала реке то одно, то другое выражение, всегда одинаково мудрое, всегда холодное, но — то печальное, то насмешливое, то искаженное болью. Сырая масса облаков смотрела на пирю льда неподвижно, бесстрастно, порою льдин о песок звучал, как чей-то робкий шепот, и навел на уныние.

— Дай мне, брат, хлеба! — услышал я подавленный шепот Исай.

И в то же время Мамаев густо крякнул, а земский громко и сердито сказал:

— Кирилка! дай сюда хлеб...

Мужичонка сорвал одной рукой шапку с головы, другую руку сунул за паузу и, положив хлеб на шапку, протянул его к земскому, изогнувшись чуть не в дугу. Взяв хлеб в руку, земский безгласно оглянул его и с кислой улыбкой под усами сказал нам:

— Господа! Все мы, я вижу, являемся претендентами на обладание этим куском, и все мы имеем на него одинаковое право, и все мы люди, которые хотят есть... Что же? разделим пополам... сию скучную трапезу... Чорт возьми! вот смешное положение, но, поверьте ли, торопясь заставить дорогу, я так спешил... Извольте...

Отломив себе, он поднес кусок хлеба Мамаеву. Купец прищурил глаз, склонив голову на бок, и, измыв хлеб, отломил свою долю. Остатки взял Исай и разделил со мною. Мы снова сели в ряд и стали дружно, молча жевать этот хлеб, хотя он был похож на глину, имел запах потной овчины и казенной капусты и... и неизъяснимый вкус...

Я ел и наблюдал, как по реке плывут грязные лохмотья ее зимних одежд...

— Вот, — говорил земский, с упреком глядя на кусок в своей руке, — извольте видеть — это хлеб! В то время, как за границей крестьянин имеет вино, сыр, шпичичный хлеб — наш мужик ест... эту гадость. Мякина в нем, кислота какая-то... и этим питаются накануне XX-го столетия!.. А почему?

Так как вопрос был обращен к Мамаеву, купец тяжело вздохнул и скромно ответил:

— Пицца не тово... не располагает...

— А по-че-му-с?

— Истощала почва земли... так ска-

заться...

— Хм! Полпоте! Эти разговоры об истощении земли — просто выдумка земских статистиков...

Кирилка вздохнул и поправил шапку на голове.

— Ты! Скажи — земля родит? — обратился к нему земский.

— Да-ить... она всяко... когда ей в мочь, то она — сколько угодно!

— Не вилай! Говори прямо — родит?

— То-есть... стало быть, ежели...

— Врешь!

— Ежели руки к ней, то она — ничего...

— Ага-а! Вы слышите — руки! Вот потому-то она и не родит, что рук к ней некому приложить... Что мы видим? Пьянство и распушенность... леньность. Рукоудителя — нет. Недород... на смену выстает земство: на, сей, батюшка, на, ешь, батюшка... Не-ет-с, это не порядок! Почему до 61 года родила? Потому что — если недород — сейчас его, голубчика... мужика, то-есть — пожалуйста-ка сюда! Вы как пахали? Вы как сели? Потом дадут ему — сей!

И — родит, о, поверьте! А теперь, живя за паузой у земства, он спрятал все свои способности... потому что не знает, как употребить их с большей пользой для себя, а указать некому...

— Это — точно, помещик мог заставить всё, что угодно, — уверенно сказал Мамаев. — Он что хотел из мужика делал... Музыкантов, живописцев, актеров, танцовщиков... с жаром подхватил земский. — Всё, что угодно!

— Истинно-с!.. Я, вот, тоже помню, когда еще мальчишкой был... так у нас... у графа... в дворе был один... подражатель, так сказать...

— И-да?

— Все мы выучились подражать! Не только звукам, которые от человека и скота... но даже деревьям и иным... изображал, как дождь лил или стекло бьется. Налетел щелк — и хорошо выходило! А то, бывало, граф скажет: Фодька! дай, как Злобная ласт! Фодька! дай, как Перехват!.. И ласт! Вот до чего достиг! Теперь бы за атское искусство мно-ого денег можно взять!

— Лодки едут! — возгласил Исай.

— А! Наконей!

— Вот и дождались... с улыбкой сказал нам Мамаев.

— Да...

— Уж это всегда так: ждешь, ждешь... дожидешься! Всеми устешь свой коней...

— Вель, это утешительно, — не правда ли?

— Еще бы-с!

— Ежели бы не это — многие совсем не могли бы жизнь терпеть, — сказал Исай.

У того берега реки среди льда копошились две длинные, темные точки.

— Лезут, — сказал Кирилка, посмотрев на них.

Земский начальник, искоса взглянув на него и спросил:

— Ну что, все пьешь?

Кирилка виновато ответил:

— Ежели когда случится... выпиваю...

— А лес ворует?

— Зачем мне лес, вахбродне?

— Нет, однако?

— Никогда я, вахбродне, не займывался лесом! — сказал Кирилка и даже головой потряс отрицательно.

— А судил я тебя за что?

— Известно... судил вы, это точно...

— За что?

— Как вы начальники... то вам и положено судить нас.

— Хи-итрая ты бестия! Ну, а с барж, во время паузы, тоже ворует попрежнему?

— Я, вахбродне, один раз попробовал... Да и то попал, ха, ха, ха!

— Не привычно нам это — потому и попал.

— Надо приучиться? ха, ха, ха!

— Хе, хе, хе! — смеялся Мамаев.

Лодки, отталкиваясь баграми от льдин, направились на борта, подвигались к нашему берегу. Мужики в них что-то кричали друг другу. Кирилка тоже приставил ко рту кулак трубой и неожиданно сильным голосом крикнул им:

— На весту потрафля-ай!

Крикнул и почти кувырком скатился вниз с бугра к реке... Мы тоже последовали за ним.

Скоро мы садились в лодки: в одну я с Исаем, в другую Мамаев с земским.

— С богом, ребята! — сняв фуражку и крестясь, скомандовал земский.

Двое мужиков на его лодке тоже истово перекрестились и стали тыкать баграми во льдины, сжимавшие лодки. А льдины ударились о борта и раздавались аловещий, хрустящий звук. На воде было холодно. Липо Мамаева, я видел, как-то побурело. Земский начальник, хмурая брови, строго и беспокойно смотрел вверх по течению, откуда на наши лодки неслись огромные голубоватые-серые куски льда. Маленькие льдины шурушали о киль — казалось, будто чьи-то острые, крупные зубы грызут дерево лодок...

Было сыро, шумно и жутко, и все мы смотрели за борта на этот грязный, холодный лед, такой могучий и глупый. Но вдруг в шорохе, окружавшем нас, я услышал голос с берега и взглянул туда. Берег был еще сажень в десяти от нас, на нем стоял без шапки Кирилка; я видел его серые, бойкие и намешанные глаза и слышал Кирилкина странно сильный голос:

— Лидя Антон! За почтой поедете — хлеба мне привезите, слышь? Господа-то, путя ожидаючи, краюшку у меня с'ели, а — одна была...